

Владимир Кулеба

Москва — город-герой

Повесть

1. Петров по прозвищу Марселино

Недавно, прогуливаясь с приятельницей по Киево-Печерской лавре, встретил Жорку Петрова. Вернее, не Петрова, а Марселино, Марселя, как мы называли его во дворе. По фамилии автора самого несчастливого для нас решающего гола в финале Кубка Европы 1960 года (Испания — СССР — 2:1). Нам было по девять-десять лет, и мы называли друг друга звучными именами знаменитых тогда футболистов. Амансио, Альтафини, Виньковатов, Грамматикопуло (из-за длинной фамилии — просто Грамматика), Численко — Число. К Петрову на всю жизнь приклеились прозвище Марселино.

Жорка здорово играл «в сетке» — во дворе школы на Горького, четыре дробь шесть, накручивая по два-три защитника. А «прикладывался» к воротам так, что деревянные щиты гулко стонали, доски не выдерживали, отлетали, подрагивая вылезшими наружу ржавыми гвоздями. Мы бродили в поисках кирпичей или железок, чтобы удалить эти гвозди, иначе они бы прокололи мяч, что по тем временам означало ни с

чем не сравнимую потерю. Бывало, мяч перелетал через сетку — не беда, если в сторону школы или ракового института, оттуда его всегда возвращали. Хуже — если на другую сторону, там кирпичный забор, но низенький, ниже сетки, а дальше — проходной двор, еще один. И не раз, и не два кто-то успевал подло стырить мяч, увести, уворовать, как бы резво ни бежал «автор за произведением».

Жестко, беспощадно и с большим достоинством играл Марселино. Он рано повзрослел, сформировался — смуглый брюнет, хоть и заводной, но отходчивый, добродушный. Вроде бы и ненамного выше меня, когда на физкультуре по росту стояли, а вон как за лето вымахал. А ведь отдыхали вместе — сначала в Евпатории, а последний месяц — в госплановском лагере, 19-й километр Житомирского шоссе. И в пинг-понг он лучший — слева красиво подкручивал, а справа накатывал. Движения плавные, как в замедленной съемке. Очко выигрывает, рукой о стол картинно обопрется, ракетку небрежно так вертит в руке, черные волосы на пробор — девушки сходились посмотреть. И пацаны младшие ему подражали, ракетки крутили, да все неумело, они из рук вырывались, ударяя по ногам.

Уже и волосы под «канадку» два раза в месяц стрижет, в нейлоновых рубашках щеголяет с отложным воротником на плаще «болонья» по 80

рублей, который мы купили ему на толкучке в Ново-Беличах. Ездили туда каждое воскресенье. Потом этот плащ — гордость двора — нас здорово выручил, когда 4 октября 1967 года «Динамо» играло «матч смерти» с «Селтиком», первый раз на стотысячном стадионе. Мы «загнали» плащ приезжим грузинам за восемьдесят рублей, и впятером проканалли на два билета.

Когда нам было по шестнадцать, Марсель первым познал некую взрослую тайну. В пионерлагерь по возрасту не пускают — переростки, мы приезжали на спартакиаду под чужими фамилиями в заявке. Физрук шутит: «Пойди побрейся, за пионеров сыграешь». Домой плетемся на трамвае 23-го маршрута — Святошино — Бессарабка — больше часа, метро никакого еще в помине нет. Сидим у открытого окна, катим мимо соснового леса с ветерком, без мыслей, усталые — говорить лень. Проходит мимо девушка или женщина молодая, Марсель внимательно так, оценивающе по ногам глазами скользит. И что он в тех ногах находит? Если смотреть, то уж на лицо, на глаза...

А как любил шикануть! После школы затащил в кафе «Снежинка» на Красноармейской, возле кинотеатра «Киев», всех мороженым (по 100 г) и коктейлем молочным за свой счет угостил. По 53 коп. на каждого истратил. Мыслимое ли дело!

Сколько лет прошло, а в памяти до мельчайших подробностей сохранилось, как смокчем через трубочки сладковато-приторную смесь, уже допитую, — со свистом, шумом. Посетители оглядываются.

Он рано отделился от нас, вот в чем дело. Все реже в школьной «сетке», а если и выходит, — в футболке настоящей, гетры надевает. Не то, что мы, босота, кто в чем. Футболка у него — на зависть всем, другой такой ни у кого в Киеве не было: красная с белыми буквами спереди: «СССР». А сзади — большая «четверка», номер Гиви Чохели, значит. И адидасовские белые трусы с эмблемой — ферзем. Невиданная по тем временам вещь. Марсель в этой форме за молоком ходил, на угол Лескова, вместо того магазина сейчас овощной-опохмелочная. Очередь балдела, когда он скромно так бутылки молочные по 15 коп. выставлял на столик, пустые. Но никто на Печерске не мог сказать, что задавался Марсель, форсил, через губу с кем-то разговаривал. Идет с базара, видит — старушенция из нашего дома еле сумки тянет. «Бабуля, давайте помогу!». И не как тимуровец из книжки, а по-свойски. А я вот, например, хоть режь меня на куски, никогда на такие подвиги не сподобился бы.

Своим голам Жорка цену знал, но и за других радовался, обнимал за плечи: «Ну как, Альмет,

классный гол?». Это меня называли так: Альмет, как хоккеиста Альметова, уже покойного. Когда ЦСКА в Киев приезжал с Тарасовым, со всеми чемпионами мира, против «Динамо» (тогда еще не «Сокола»), мы отчаянно рвались во Дворец спорта, ночевать оставались на сцене за кулисой, чтобы на утреннюю тренировку и потом на матч остаться. А когда «конюшня» (ЦСКА, то есть) уехала, год еще вспоминали: «А помнишь, как Альметов Локтеву выдал, а тот Александрову...» Так и прилипло ко мне: Альмет.

Или когда в «сетке» принципиальная игра с другим двором, на деньги, а человека не хватает, мы ему кричим: «Марсель, стань в калитку!» — в ворота то есть, руками не брать, как последний защитник, «подчищать». И он безотказно выходил, двумя пальчиками поддерживая штанины — так в дождь переходят дорогу, чтоб не намочить, — и штиблетами своими тихонько распасовывал, и нас подбадривал:

— Ну, старик, ты в углу тогда пас отдал, Мунтяну нечего делать.

Главное — искренне так, душевно, кому другому, может, в морду дал бы, а ему — верили. А вдруг правда?

И первый коньяк с ним, и первая девушка. Столкнулись как-то на Крещатике. Он с двумя подругами — модными, в нарядных платьях, и я с

двадцатью копейками в кармане.

— Не беда, Альмет. Мы — в «Чай-кофе», пойдём с нами.

Кто помнит такое заведение — наверху Крещатика, между кинотеатром «Дружба» и метро, — «Чайник». Высший класс, со всего Киева народ козырный по тем временам съезжался. Битлов крутили, роллингов. А иногда и свои концерты давали. Марселино заказал себе 100 коньяка, нам по 50, соку, бутерброды с икрой, по конфете «Червоний мак». Желудок не поддался, и я долго боролся, боясь открыть рот. Внутри электрический ток, слюну все время сглатываешь с одной мыслью — не опозориться, не блевануть на стол. В голове шумит, девушки как закурили — в глазах темно. И чего смеяться? Первый раз человек не только коньяк пьёт — икру ест.

Потом поехали к Галке на квартиру, там я окончательно опозорился. Развезло, проснулся среди ночи — они втроем на кухне сидят. Набросил лежавший рядом халат, выхожу к ним — смеются. Я руку в карман машинально сунул — что-то хрустнуло. Достаяю — презерватив в целлофановой обертке, мы в аптеку бегали смотреть на такие, по четыре копейки, продавщица не отпустила. За столом все оживились, на меня смотрят:

— Что, никогда не видел?

И Марсель Галину за локоток.

— Ну пойдя. Галчонок, обучи новобранца, а то попадет в чужой дом, что будет делать?

Галку долго упрашивать не надо, но намучилась она со мной, что и говорить, прилично. Зато любила как после!

Начиналась взрослая жизнь. Очень быстро и дружно расселили «хрущевки» на Копыленко и Кутузова. Наши родители — чиновники средней руки Кабмина, Госплана и ЦК — соскочили: кто на повышение, у кого семья прибавилась, кто квартиру сменил, а кто и спился с круга, никого из друзей во дворе не осталось. Мы получили трехкомнатную на Березняках, у самого озера Тельбин. По инерции какое-то время я еще наезжал в нашу «сетку», играли в футбол, но как-то вяло, больше упирали на пиво, подолгу сидели на столе, где наши родители забивали «козла». И Марсель тоже съехал. Его батю призвали в начальство, кинули на прорыв, говорят, дали роскошную хату на Розы Люксембург, на Липках. Мы несколько раз встречались, больше случайно, пока не потеряли друг друга окончательно.

Сколько же лет прошло — двадцать, нет, тридцать. Тридцать лет! Да разве это Петров, Жорка, грозный центрфорвард Марселино, он же Марсель, неотразимый красавец, предмет обожания печерских барышень с Панаса Мирного и Миллионной, властитель дум моего детства? Этот

подтоптаный мужик с так называемой челкой их трех редких прядей, старательно укрывающих лысину? И пахнет от него, извините, уж никак не французским дезиком — какой-то слежавшийся запах то ли заношенного белья, то ли позавчерашнего борща. Старомодный костюм, увы, тот самый, что был на нем в нашу последнюю встречу, их носили в конце шестидесятых кумиры-футболисты. А галстук... Что же это за галстук у Марселя — засаленный, с задубелым узлом? Наверное, ленится каждое утро заново повязывать, чтобы узел всякий раз был на другом месте, тогда галстук и не заминается, и служить долго будет. А может, не умеет? Ну да, Марсель не умеет, скажешь такое! Но, поди ж ты, завязан широким узлом, как у пенсионера, и короткий, до пупа не достает, не то что до ремня. И без булавки, заколки, какие сейчас все носят.

Марсель как загипнотизированный устоял на мою бриллиантовую булавку в форме земного шара и, пока мы обменивались первыми проходящими в голову фразами, приличествующими моменту, все время глазами ее ловил. Такие вещи обладают магической притягательной силой. Сам убедился, когда сидел в первом ряду аккуратно напротив американского президента и не мог отвести глаз от воткнутого в его галстук бриллианта, сверкающего в солнечных

лучах, как рыба в воде. И что бы ни говорил президент, я не слышал, вернее, не разбирал слов, они отскакивали, боялся потерять из виду булавку. Сейчас точно такая же на мне, и он пялится на нее, глаз отвести не может. Друг моего детства Жорка Петров чувствует себя без заколки, как голый, неодетый человек в толпе уважаемых мужчин, идущих по Парижу в дорогих и шикарных костюмах.

— Ты знаешь, — вдруг сказал он, когда и говорить уже вроде было не о чем, — а у меня ведь тоже такая заколка есть. Ну точь-в-точь, старик.

И в эту минуту случилось как бы чудесное превращение. На секунду, всего лишь на секунду, клянусь, господа, промелькнула такая знакомая, добрая улыбка того самого Жорки, которого я знал в другой жизни. Жалкий всплеск былой красоты, раскованности, непринужденности. Когда реставрируют старый портрет, опадают слои, нанесенные за все годы, и на миг, только на миг, я увидел прежнего Марсея, с которым мы встречались у остановки трамвая на Мечникова, чтобы вместе идти на уроки. Не задолбанного жизнью неудачника в ширпотребовском допотопном костюме и застиранном галстуке, а уверенного в себе первого школьного красавца с вальяжной артистической броскостью, центрального парня с Крещатика, одетого с иголочки, с

неизменной тщательностью и вкусом.

Да, это был все тот же, совсем не изменившийся Жорка, обнимавший меня на евпаторийском пляже блаженной памяти санатория четвертого управления Минздрава УССР. И интонации знакомые, воркующие, бархатистые воскресли в памяти. «Как жаль, Альмет, что ты не умеешь плавать. Да я тебя все равно научу. Не веришь?»...

— Не веришь? Честное слово. Я просто сегодня ее не захватил с собой... Ты стал знаменитым, Альмет?

— Ну уж сразу знаменитым. Работа на виду, вот и все.

— Не приbedняйся. Я слежу за тобой. Да, кстати, смотри, что у меня: рукописи уникальной книги «Житие святых», в Киево-Печерской лавре напечатана, в восемнадцатом веке, в 1762 году. В честь восшествия на престол Екатерины II. Эта рукопись с начала 20-х годов в розыске, числится как пропавшая. Раритет жуткий, на старославянском. Времен архимандрита Зосима, слышал про такого? Тогда это было первое такое издание, здесь описываются жизни всех канонизированных на то время святых православной церкви. Я ее Диме Табачнику показывал, он говорит: цены нет, бесценная. Мне один бизнесмен за нее сорок тысяч баксов

предлагал, я не согласился.

Послушай, Альмет, ты за границей часто бываешь, не можешь там толкнуть ее, а бабки раздеребаним. Помнишь, как мы в трамвае школьниками двадцать рублей нашли? Ведь все было по-братски...

— Я подумаю и сам тебе позвоню.

— Да что тут думать, верняк дело!¹ Но ты знаешь, я ведь к тебе не из-за этого даже подошел. Мамзель, вы уж извините нас. Не жена ли случайно? Познакомил бы.

— Да нет, так...

— Понятненько. Простите нас, мамзель, друзья детства встретились через тридцать лет. Не волнуйтесь, вечера воспоминаний не будет. Сейчас разбегаемся. Видал тебя пару раз здесь, а ты не поздоровался, нехорошо, знаешь ли, старых корешей не признавать некрасиво.

— Да я... прости... может, не заметил. Зрение садиться стало. Ты же знаешь, я завсегда... Никогда не отрещивался...

¹ Книга «Житие святых» (1762, отпечатана небольшим тиражом в Лавре, хорошо сохранившаяся, образец полиграфического и издательского искусства XVIII века) была случайно обнаружена на одном из «блошиных» рынков Китая в 1999 г. и возвращена бизнесменом Е.Долгопятым в Киев (см. «Факты», 13 июня 2000 г.)

— Я не о том. Сейчас специально вот захватил, знал, что увижу.

Марсель поставил на парапет черный, давным-давно ушедший в небытие дерматиновый с металлическим основанием дипломат, их вручали бесплатно делегатам то ли двадцать пятого, то ли еще какого другого съезда комсомола. Долго рылся, наклонившись так, что я до мельчайших деталей мог рассмотреть его пунцовую лысину, покрытую слабым коричневым пушком, кажущуюся сверху большим коленом, обтянутым колготками телесного цвета, пока, наконец, не вытащил не шибко объемистый сверток, завернутый в давно утратившую полиграфическую свежесть и популярность у народа киевскую «вечерку».

— Мы не печатаем стихов.

— Да не стихи, не бойся. Это мой дневник.

— Ты знаешь, должен, наверное, знать, и дневников не печатаем.

— Слежу-слежу. Это НДС — не для печати. Для тебя, понял? Специально сохранял. Здесь вся моя жизнь.

2. Груздев

Из дневника Петрова (Марселино)

«...На следующий день мы уезжали из Москвы в Минск. Я температурил, мучал страшный

флюс. Вот глупость: в Киеве решился вырвать зуб, который болел уже неделю, — в Москву ведь еду. Пришел по скорой в клинику на Бессарабке, мужик посмотрел: «Будем удалять, укольчик только сделайте». Тот, кто укольчик должен был делать, книгу читал или журнал толстый, не вспомню, попал иглой то ли в вену, то ли в нерв. Когда я вышел в коридор, очередь присмирела — щека распухла вдвое больше. На работе тоже все шарахались, и боль ужасная.

В поезде выпили, сняло на ночь. Утром — жижа под ногами, грязное месиво, температура, а надо в Выхино добираться общественным транспортом. Ужас! Сутки на полосканиях, даже в местный медпункт сходил: «Все в норме, соду ищите, дня три саднить будет, пока опухоль спадет». Не повезло, говорят, вам. Трясет всего — свитер лыжный, самый теплый, натянул, двумя одеялами укрылся, скулю. День на анальгине проспал, проклиная все на свете, на стук в дверь не откликался, знал, что выпить зовут. Выпьешь, и боль в голове усиливается. Свитер на голову — не так слышно, пусть себе. И вдруг сильный такой стук под вечер:

«Але, старик, это Груздев, выходи или открой!» Женька Груздев! Мама мия! Надо открывать, кто ж тебе поверит, что спишь! И мы мчимся на такси шальном и попадаем на

суперпредставительную тусовку то ли в честь газеты «Московские новости», то ли в честь театра какого, но очень демократичную, Я в свитере, с флюсом, рядом — Пугачева, Пьеха, Жванецкий, Окуджава, Афанасьев, Попов, Травкин и очень популярный в те годы Невзоров. Он в джинсовом костюме, ведет себя агрессивно, вызывающе и независимо, ему все аплодируют. После концерта фуршет — кто первый вышел, тот захватил место у стола. Мы оказались у рояля, рядом с Евтушенко. Он хоть и зомбирован успехом, но в выпивке прост и доступен — разливает шампанское, хватает, как и мы, бутерброды с икрой. Народный депутат Станкевич грозит пальцем: куда ты, мол, с суконным рылом, дай сперва избранникам с красным значком взять бутерброды с красной икрой, тебе и с черной с головой хватит. И я постепенно оттаиваю: а по фиг та температура! Не ел ведь несколько дней, кусаю вырванным зубом, запиваю шампанским — жизнь что надо!

Вот он рядом, Женя Евтушенко, пьем почти на брудершафт, обнимаемся. Все запросто — на рояле, на салфетке. Почти по-домашнему, на дружеской ноге. Прав Чехов: как все же возбуждает рукопожатие какого-то пьяного Плевако! Знаменитостей-то сколько вокруг, батюшки святы. И с каждым охота выпить, автограф взять. Но Женька Груздев уже за руку тащит — хватит,

поехали, по-серьезному сейчас выпьем. Он еще не крутой, не самый-самый в Москве, оттого и водится со мной, а не, скажем, с Ильей Глазуновым, как сейчас. И мы едем на его служебной «Волге» — тогда еще «Волги» были у начальства! — куда-то за город, сверяемся по схеме, нарисованной шариковой ручкой в тетради в клеточку, останавливаемся у деревянных, окрашенных в зеленый цвет, занесенных снегом заборов. Вот и дача, но, увы, не наша. Мы ищем знакомую Женьки, он, видимо, и сам редко здесь бывает. Выпало много свежего снега, следов и вмятин черных почти нет, толпятся ели. Долго блукаем, Женька обещает горячие пельмени. Еще забор, остановка, водитель куда-то уходит, звонит, колотит в двери — все мимо, все не то. Женька заставляет перелезть через забор, лают собаки. Небо над нами бледно-синее, северное, московское — такого в Киеве не увидишь. Градусов за двадцать мороза, мерцают незнакомые северные звезды. Наша моча, клокоча в снегу, вмиг желтеет и замерзает, черствеет, будто и не моча вовсе, а следы озябшей птахи. И Женьке уже холодно.

— Ничего, сейчас приедем, а там пельмени, не то что пальцы съешь — и вилки с ложками.

И наконец мы находим. Конечно, не по схеме, а на обратном пути.

— Женька, ну что же ты!

— Да, мужики, приехали.

Нас, конечно, не ждали. Долго вытряхиваем снег, извиняемся за позднее вторжение. Пельменей нет. Есть барышня с огромным и некрасивым вытянутым носом и ее мама. Подогревается вчерашняя картошка, такой же салат, отдаленно напоминающий оливье. Весел, пожалуй, лишь шофер наш, долго моющий руки. Случайно забредаю в комнату и вижу — Женька мой, смущенный, меряет белую в полоску рубашку.

— Это я тебя с днем рождения поздравляю, — девушка с длинным носом гладит его по голове. Женька, сосредоточенно застегивающий пуговицы:

— А выпить-то у тебя найдется, а то друг мой из Киева совсем нехороший, заболел.

Я выскакиваю с горящими щеками. Ну, брат! У меня ж в гостинице и бутылка, и сало осталось.

Женьке, впрочем, я все прощаю. Познакомились случайно — на него донос небольшой заставили строчить в прошлый приезд. Не знали друг друга, встретились на лестнице, в курилке.

— Так это ты под меня копаешь?

— Я, Женя. Мне поручено. Только не знаю, что писать.

— Напиши, что думаешь.

— А откуда ты знаешь, что я думаю?

— Да, это серьезно. Запомни: доносчиков и

трусов они презирают и не жалуют. Трус же умирает дважды.

И ушел к себе.

Что Женьке? В Москве он свой, не унывает. Бутылку водки осилили шутя, попрощались с длинноносой и ее мамашей.

— Мужики, так здесь же Шереметьево-два рядом. Айда заедем!

— Евгений Николаевич! — закатил водитель глаза к небу.

— На пять минут только, пивка попить!

Значит, на полночи. Нет, с Женькой не соскучишься, с ним весело.

— У кого это мы были?

— Да жена моя первая.

Н-да. А вот и Шереметьево — никогда не был, только по телеку видел. Отсюда вся страна, Союз то есть, в загранку летает. Ворота в мир, можно сказать. Шикарное место. Мелодично так музыка перед объявлением рейсов звучит, табло, как за бугром, города высвечивает, дух захватывает. Амстердам, Берн, Нью-Йорк, Париж, Рим, Варшава. Да, брат, это тебе не хухры-мухры.

— Слышь, Марсель, здесь буфетик один, выпивки навалом, только надо таможенный и паспортный контроль пройти.

— Так мы же...

— Да ну, ерунда, я сейчас договорюсь. Стой

здесь. Женька никогда ничего не обещает зря, впустую. Все, о чем говорит, делает. И не выпендривается. Сегодня его чуть с работы не поперли и из партии не исключили. Только, глядя на него, ни за что не догадаешься. Держится молодцом, не суетится. В глаза пристально смотрит, спокоен. И когда шизофреник Байков, первый секретарь МГК, несколько часов назад заорал, как прокаженный: «Груздев! Груздев! Вон!» — присутствие духа не потерял. Тихонько хлопнул дверцей и к шоферу: «Михалыч, у тебя выпить есть что?». Известное дело, как в Москве сейчас с выпивкой — днем с огнем. Антиалкогольный психоз. Михалыч сразу бутылку «белой головки», два стакана и бутерброд. Уж не свой ли, которым жена снабдила, больно тщательно завернул. Бутербродом, правда, Женька распорядился по-братски. Он только крикнул, выругался трехэтажным матом, душу облегчил. Сразу по второй разливает, а из того же подъезда, на Серова, Миша Полуэктов, наш министр, выходит с рожей, лоснящейся на морозе, как блин с маслом. Окликнули его, а он:

— Ребята, я уже бывший, без работы.

— Партбилет-то хоть остался?

— Строгач с занесением.

— Ну, садись, выпьем. За здоровье Льва Николаевича. Какого? Не Толстого же. Байкова —

мудака из мудаков!

А вот и Женька!

— Давай быстрее! Все договорено. Где шуткой, где гуськом, где просто напролом, внаглую — и все барьеры позади.

— Пошли они все на фиг, пусть теперь локти кусают, мы в транзитной зоне! Хочешь — улетим, куда глаза глядят, недельку-две поживем, как люди, а потом вернемся свое дерьмо нюхать?

— Свое дерьмо, — говорит Миша Полуэктов, — и пахнет не так, как чужое. Нюхать его приятно. Это еще Достоевский отметил: даже гниль от зуба собственного приятна, вожделенна.

Кстати, о зубе. У меня он почти не болит.

В очереди к стойке одни иностранцы, попадаются даже негры. Мы с Женькой подходим к стойке слева. Груздев долго гипнотизирует буфетчицу — шикарную такую телку, на ней халат вот-вот по швам разойдется. Ладненькая, теплая, по-домашнему уютная, руки мелькают в плавных движениях. Вырез на груди-то не слишком ли откровенен? Наконец случайный взгляд в нашу сторону и снова что-то в очереди переспрашивает, уточняет, да так и застывает с протянутой к счетам руками:

— Евгений Николаевич? — боясь поверить свалившемуся то ли счастью, то ли несчастьем, выпрямляется, отключается наконец от

надоедливого араба, глаза сверкают, как стоваттные лампочки. По этому блеску можно прочесть многое. И то, как она до сих пор его любит, и как им было хорошо, и как ждет каждый день, пока он позвонит. И хотя он не звонит — наобещал, наврал, она все равно счастлива. По глазам видно.

— Что же ты, Женя?...

— Да вот, замотался. Дай что-нибудь выпить.

— Сейчас. Кушать будете? Я же до сих пор плитку, что из дому тогда принесла, держу здесь...

Она зовет сменщицу и подсаживается к нам. Уже и яичница специальная для нас готова.

Завязывается абсолютно беспредметный пьяный сюжет из той самой оперы, где познакомились за стойкой и разлетелись через десять минут, чтобы никогда больше в жизни не свидеться. Впечатление такое, что вот-вот объявят наш рейс. Антонина — мировая баба, пьем с ней на брудершафт, целуемся, хохочем, как идиоты.

— Давай еще, — говорю я.

— Ну ты, брат, заканчивай, а то я уже ревную, — не то всерьез, не то в шутку говорит Женька. Она кладет свою руку на его. Оба сосредоточенно замолкают.

— А неплохой вечерок, — говорит Груздев.

— Да уж, вечерок, два часа ночи. Мне работать пора. Когда объявишься наконец, Женя?

— Да, может, даже завтра, ты-то как

работаешь?

— Всю неделю.

— Так мы к тебе нагрянем с другом. Он в Москве до воскресенья...

— Думаешь, нагрянем? — спрашиваю уже в машине.

— А то как же, завтра сядем и приедем.

И самое поразительное — он и вправду верит, что нагрянем.

Пока же мы едем ко мне в гостиницу. И сало есть, и бутылочка заветная.

— Во, блин! Забыли пиво!

Я думал с водителем инфаркт случится. Ничего, выдержал Михалыч, только еще крепче руль сжал двумя руками...

— Сейчас мы возле «Украины» чешского купим, я там одно местечко знаю.

В вестибюле знаменитой гостиницы «Украина» два лица кавказской национальности добирали последних проституток. Впервые я увидел московских шлюх живьем — не в кинофильме зарубежном, а рядом. Руку протяни — твоя. Если в руке что-то будет, конечно. И слова заветные надо сказать — код московской любви: «Ван хандрид долларз». Классно одетые барышни, длинноногие, с прическами, затянутые талии, пояса накладные, широкие, чуть озабоченные лица.

— Чего вы хотите, получается за ваши деньги

на двоих — пять человек. Достаточно?

Сила! Аж мурашки по спине. Вот она, московская жизнь. Это за нее сегодня Женьку чуть с работы не засандалили.

Дверь в нашу гостиницу, конечно же, закрыта изнутри и плотно. Но вот удача — стекло, что рядом, выбито и ошметками валяется на полу, поскрипывает под нашими башмаками, как замерзший снег. Мы так и заходим — сквозь проем и с чешским пивом. Прижимаем бутылки к себе, чтобы не разбить, бредем медленно, сгорбясь, как по дну, к лифту, на счастье, не отключенному на ночь. Никто нас не приветствует и не сопровождает. Ну и ладно, тем лучше. На этаже полный интим. Горничная с неизвестной гражданкой в почти распахнутом халатике — под сенью настольной лампы. Дамы пьют кофе и мирно беседуют о своем, о женском. На тумбочке — чашки с дымящимся кофе, две по полрюмки коньяку, здесь же стограммовые «мерзавчики», в пальцах — длинные сигареты.

— Явились — не запылились, ранние птахи, аккурат под утро. Вы в каком номере проживаете-то?

— Откуда же я помню, сейчас по визитке посмотрю.

— Сразу видно, редкие гости.

— В шестьсот двадцать шестом.